

Лит. Россия, 1985, 5 апр, № 14.

СТРАНИЦЫ



ВОСПОМИНАНИЙ

Мустай
КАРИМ

Талант высочайшей пробы

Я встречаю мой новый
день ожиданием труда.
Ю. РАКША

НАЧАЛО осени. Погожий день. Теплый. Нынче в Уфе деревья стоят совсем еще зеленые. Лишь с тополей изредка падают преждевременно уставшие листья, даже не успевшие совсем пожелтеть. Наверно, они за лето потрудились более других, вот и надорвались. Как люди.

Мы сидим на белых березовых бревнах около двухэтажного дома. Мы — это Валентина Михайловна Сорокина и я. Она — родная сестра художника Юрия Ракши. Уже минуло четыре года, как этот вдохновенный мастер сорвался с дерева бытия, словно тот тополиный лист. Он так мало жил. Мы даже не успели им — живым — налюбоваться и вдоволь навосхищаться... Мы сидим под окном, через которое он впервые увидел свет. На этих стеклах зимой для него мороз выводил изумительные рисунки. А ведь его — мороз — никто не учил рисовать, все это он делал по своему разумению, по неведомому зову и в свой срок. Так никто не скажет, когда, зачем и для чего начал робкий, стеснительный, покоряюще красивый мальчик с умными, всегда немного виноватыми глазами дерзко перерисовывать все вокруг. Не так, как есть, а как ему виделось и казалось. Этому его еще никто не учил. Пока его сердце просто отвечало на зов природы. А о его глазах я сужу по тому, что они такими были всегда. Такое остается только от детства. Он всегда считал себя в долгу перед неопишущей красотой мира, потому что чувствовал себя чуть виноватым.

До его детства мне рукой подать. Он родился в 1937 году, когда я поступал в вуз. Цел еще этот двухэтажный многоквартирный деревянный барак, какие до войны построили на радость своим рабочим фанерная фабрика, где работала мать; еще не успели постареть тополя и березы вокруг, которые тогда уже каза-

лись мальчику непостижимо большими, одну из своих картин он так и назовет впоследствии — «Когда деревья были большими»; сохранился их сарайчик с голубой дверью, на которой висит тот же замок, охраняя добро новых хозяев; на дворе та же «гусиная трава». Вещи живут долго, трава — вечно.

Мне сейчас кажется, что с Юрием Ракшой я жил долгие годы совсем рядом. А в сущности, мы встречались с ним всего несколько раз. Ощущение этой близости, видимо, вызвано тем, что душа и память его не оторвались от родимой земли, от нашей общей колыбели — Башкирии, — мысль и талант его трудились ей во славу. Чувством сыновнего долга и признательности пронизаны его слова: «Где-то далеко теперь нестеровские дали за рекой Белой, и, наверное, я до конца жизни так и останусь должником перед ними, не смогу написать все желанное, дорогое сердцу. Но моя малая родина... стала частью всего большого, открывшегося в моей жизни...»

О «нестеровских далах» Юрий Ракша говорил не раз. Это общее понятие имеет конкретную основу. Высоко над Белой вздымается крутой утес, откуда открываются необозримые дали почти всех четырех сторон света. Отсюда любовался забельскими волнистыми просторами Михаил Васильевич Нестеров. В



Юрий РАКША. 1979 год.

часы тоски и минуты радости приходил сюда его младший современник — классик башкирской литературы Мажит Гафури, воспевающий с птичьего полета прекрасные луга и поля, уходящие за полог горизонта. Волшебная гора коснулась и сердца мечтательного подростка Юрия Ракши. Пройдя весь город из конца в конец, он приходил на эту высоту и в ледоход, и в пору весеннего цветения, и в трескучий синий мороз. Звали его те дали во всякое время. В зрелые годы в каждый приезд домой посещение утеса для него стало неизблемым ритуалом, священным поклонением родной земле. Эту крутизну облюбовал Салават Юлаев. В 1967 году тут, над самым обрывом, прочно осадил он своего чугунного коня. Вечная память и признательность народная за это отменному скульптору Сосланбеку Тавасиеву.

«Нестеровские дали» для Юрия Михайловича были символом отчего края. В предсмертный миг, в бреду он сказал сестре: «Смотри, Валя, смотри, из стены пробился нестеровский родник! Смотри, Валя...» Это

были его последние слова. Больше он ничего не произнес.

Мне думается, он не был ни прямым учеником Нестерова, ни ярым поклонником его творчества. Но его роднили со старым великим художником мужественная честность, искренность в служении искусству и верность — в помыслах и делах — своим истокам, «далям минувшего». Вот почему и мне кажется, что Юрий Ракша, пришедший в мир намного позже меня и ушедший так рано, был всегда со мной и будет до конца. Его жизнь и дело явились не разовой вспышкой, а озарением, которое через настоящее устремлено в будущее. Можно забыть его лицо, глаза, руки, но тепло, которым тебя наделяла его душа даже при мимолетных встречах, будет всегда с тобой, будет всегда в тебе, не говоря уже о его проникновенных творениях, полных добра, сорадования и сострадания.

Есть у меня и за что корить себя. Я не всегда откликался на его желание пообщаться. Более того, в первое время я не очень вникал в суть его творчества, оттого был не совсем внимателен к нему. А ведь мне нетрудно было догадаться, что он тянется ко мне как к земляку. А возможно, не только поэтому. Меня утешает лишь одна мысль: могли же мы совсем разминуться, благо этого не случилось.

Первый раз (года не помню) мы с ним встретились у него дома в Москве, на Преображенке. Нас троих — Кайсына Кулиева, Давида Кугультинова и меня, — встретив на съезде писателей в Кремле, повезла туда жена художника писатель Ирина Евгеньевна Ракша, которая была знакома с моими друзьями. В то время у Юрия Ракши, оказавшись, возникла мысль написать групповой портрет четырех поэтов — нас троих и Расула Гамзатова. Поэтому Ирина и пригласила нас к себе. «Народные поэты» — так должна была называться картина. Мы долго сидели. Хозяйка гостеприимно угощала нас и занимала беседой, а Юра рисовал и рисовал...

В этом дружном, радушно-

доме я был еще не раз и позже. Как-то в Москве, в залах Академии художеств, была большая выставка работ художников Башкирии. Наши, как говорится, прошли хорошо. По этому случаю Ракши позвали в гости уфимских «именинников» и своих московских друзей. Я тоже был приглашен. Застолье было щедрое, раскованное, веселое. Соблюдая наш обычай, хозяева весь вечер почти не садились, угощали стоя. Юра все время держал меня «под прицелом» (он же задумал картину). Это меня несколько смущало. В один момент, встретившись с ним глазами, я погрозил ему пальцем. Он принял шутку и на некоторое время оставил меня в покое. Когда же один подвыпивший гость, пришедший сюда впервые, сделал попытку «культурно» развлечь гостей сомнительным анекдотом, Юрий Михайлович вдруг растерялся, но быстро нашелся. И, обращаясь к тому по имени, громко перебил:

— Говори, красивый! Скажи-ка возвышенный тост! И лучше в честь женщин!

Красивого, возвышенного тоста в честь женщин тот не произнес, зато умолк надолго.

Даже тут, во время шумного пиришества, работали творческая мысль Юры и его высокие нравственные принципы.

Однажды в февральскую метель он приехал ко мне в Малеевку. Тогда я жил там, в Доме творчества. Он был легко одет. За это я его сразу пожурил. А он улыбается, говорит: «Во мне воды мало. Я не мерзну». До обеда он рисовал меня в моей комнате. Но, чувствуя, он не в духе. Видимо, я не мог сосредоточиться и уйти в себя. Он «не находит» меня, мучается. После обеда меня пригласили на партию преферанса. Я отказываюсь: «Видите же, у меня гости...» А Юра обрадовался. «Идите... Идите, — говорит, — я пристроюсь в сторонке и буду работать». Так и сделали. Через несколько часов вижу, лицо моего гостя просветлело. Значит, доволен, «нашел».

Я провожал его в сумерках до шоссе. И он ушел в метель. Постуденчески стройный. Голова укутана малахаем. За плечом легкая сумка с рисунками. До остановки автобуса, что на большаке, он пошел один. Вскоре между нами упал непроницаемый занавес из кружащегося снега. Оказалось, что это навсегда...

Мы все еще сидим на белых березовых бревнах под окном родного дома Юрия Ракши. Я думаю о том чистом, страстном, совестливом таланте — о таланте высочайшей пробы. От этих дум мне легче и надежнее дышится под высоким ясным осенним небом. Валентина Михайловна плачет. Плачет тихо...



Ю. РАКША. «Настроение». «Башкирские холмы».

Мустай
КАРИМ

Талант высочайшей пробы

Я встречаю мой новый
день ожиданием труда.
Ю. РАКША

НАЧАЛО осени. Погожий день. Теплый. Нынче в Уфе деревья стоят совсем еще зеленые. Лишь с тополей изредка падают преждевременно уставшие листья, даже не успевшие совсем пожелтеть. Наверно, они за лето потрудились более дружно, вот и надорвались. Как люди.

Мы сидим на белых березовых бревнах около двухэтажного дома. Мы — это Валентина Михайловна Сорокина и я. Она — родная сестра художника Юрия Ракши. Уже минуло четыре года, как этот вдохновенный мастер сорвался с дерева бытия, словно тот тополиный лист. Он так мало жил. Мы даже не успели им — живым — полюбоваться и вдоволь навоسخищаться... Мы сидим под окном, через которое он впервые увидел свет. На этих стеклах зимой для него мороз выводил изумительные рисунки. А ведь его — мороз — никто не учил рисовать, все это он делал по своему разумению, по неведомому зову и в свой срок. Так никто не скажет, когда, зачем и для чего начал робкий, стеснительный, покоряюще красивый мальчик с умными, всегда немного виноватыми глазами дерзко перерисовывать все вокруг не так, как есть, а как ему виделось и казалось. Этому его еще никто не учил. Пока его сердце просто отвечало на зов природы. А о его глазах я сужу по тому, что они такими были всегда. Такое остается только от детства. Он всегда считал себя в долгу перед неопикуемой красотой мира, потому чувствовал себя чуть виноватым.

До его детства мне рукой подать. Он родился в 1937 году, когда я поступал в вуз. Цел еще этот двухэтажный многоквартирный деревянный барак, какие до войны построили на радость своим рабочим фанерная фабрика, где работала мать; еще не успели постареть тополя и березы вокруг, которые тогда уже каза-

лись мальчику непостижимо большими, одну из своих картин он так и назовет впоследствии — «Когда деревья были большими»; сохранился их сарайчик с голубой дверью, на которой висит тот же замок, охраняя добро новых хозяев; на дворе та же «гусиная трава». Вещи живут долго, трава — вечно.

Мне сейчас кажется, что с Юрием Ракшой я жил долгие годы совсем рядом. А в сущности, мы встречались с ним всего несколько раз. Ощущение этой близости, видимо, вызвано тем, что душа и память его не отрывались от родимой земли, от нашей общей колыбели — Башкирии, — мысль и талант его трудились ей во славу. Чувством сыновнего долга и признательности пронизаны его слова: «Где-то далеко теперь нестеровские дали за рекой Белой, и, наверное, я до конца жизни так и останусь должником перед ними, не смогу написать все желанное, дорогое сердцу. Но моя малая родина... стала частью всего большого, открывшегося в моей жизни...»

О «нестеровских далах» Юрий Ракша говорил не раз. Это обобщенное понятие имеет конкретную основу. Высоко над Белой вздымается крутой утес, откуда открываются необозримые дали почти всех четырех сторон света. Отсюда любовался забельскими волнистыми просторами Михаил Васильевич Нестеров. В



Юрий РАКША. 1979 год.

часы тоски и минуты радости приходил сюда его младший современник — классик башкирской литературы Мажит Гафури, воспевающий с птичьего полета прекрасные луга и поля, уходящие за полог горизонт. Волшебная гора коснулась и сердца мечтательного подростка Юрия Ракши. Пройдя весь город из конца в конец, он приходил на эту высоту и в ледоход, и в пору весеннего цветения, и в трескучий синий мороз. Звали его те дали во всякое время. В зрелые годы в каждый приезд домой посещение утеса для него стало неизблемым ритуалом, священным поклонением родной земле. Эту крутизну облюбовал Салават Юлаев. В 1967 году тут, над самым обрывом, прочно осадил он своего чугунного коня. Вечная память и признательность народная за это отменному скульптору Сосланбеку Тавасиеву.

«Нестеровские дали» для Юрия Михайловича были символом отчуждения. В предсмертный миг, в бреду он сказал сестре: «Смотри, Валя, смотри, из стены выбился нестеровский родник! Смотри, Валя...» Это

были его последние слова. Больше он ничего не произнес.

Мне думается, он не был ни прямым учеником Нестерова, ни ярким поклонником его творчества. Но его роднили со старым великим художником мужественная честность, искренность в служении искусству и верность — в помыслах и делах — своим истокам, «далям минувшего». Вот почему и мне кажется, что Юрий Ракша, пришедший в мир намного позже меня и ушедший так рано, был всегда со мной и будет до конца. Его жизнь и дело явились не разовой вспышкой, а озарением, которое через настоящее устремлено в будущее. Можно забыть его лицо, глаза, руки, но тепло, которым тебя наделяла его душа даже при мимолетных встречах, будет всегда с тобой, будет всегда в тебе, не говоря уже о его проникновенных творениях, полных добра, сорадования и сострадания.

Есть у меня и за что корить себя. Я не всегда откликался на его желание пообщаться. Более того, в первое время я не очень вникал в суть его творчества, оттого был не совсем внимателен к нему. А ведь мне нетрудно было догадаться, что он тянется ко мне как к земляку. А возможно, не только поэтому. Меня утешает лишь одна мысль: могли же мы совсем разминуться, благо этого не случилось.

Первый раз (года не помню) мы с ним встретились у него дома в Москве, на Преображенке. Нас троих — Кайсына Кулиева, Давида Кугультинова и меня, — встретив на съезде писателей в Кремле, повезла туда жена художника писатель Ирина Евгеньевна Ракша, которая была знакома с моими друзьями. В то время у Юрия Ракши, оказываясь, возникла мысль написать групповой портрет четырех поэтов — нас троих и Расула Гамзатова. Поэтесса Ирина и пригласила нас к себе. «Наподные поэты» — так должна была называться картина. Мы долго сидели. Хозяйка гостеприимно угостила нас и занимала беседой, а Юра рисовал и рисовал...

В этом дружном, радужном

доме я был еще не раз и позже. Как-то в Москве, в залах Академии художеств, была большая выставка работ художников Башкирии. Наши, как говорится, прошли хорошо. По этому случаю Ракши позвали в гости уфимских «именинников» и своих московских друзей. Я тоже был приглашен. Застолье было щедрое, раскованное, веселое. Соблюдая наш обычай, хозяева весь вечер почти не садились, угощали стоя. Юра все время держал меня «под прицелом» (он же задумал картину). Это меня несколько смущало. В один момент, встретившись с ним глазами, я погрозил ему пальцем. Он принял шутку и на некоторое время оставил меня в покое. Когда же один подвыпивший гость, пришедший сюда впервые, сделал попытку «культурно» развлечь гостей сомнительным анекдотом, Юрий Михайлович вдруг растерялся, но быстро нашелся. И, обращаясь к тому по имени, громко перебил:

— Говори, красивый! Скажи-ка возвышенный тост! И лучше в честь женщин!

Красивого, возвышенного тоста в честь женщин тот не произнес, зато умолк надолго.

Даже тут, во время шумного пиришества, работала творческая мысль Юры и его высокие нравственные принципы.

Однажды в февральскую метель он приехал ко мне в Малеевку. Тогда я жил там, в Доме творчества. Он был легко одет. За это я его сразу пожурил. А он улыбается, говорит: «Во мне воды мало. Я не мерзну». До обеда он рисовал меня в моей комнате. Но, чувствуя, он не в духе. Видимо, я не мог сосредоточиться и уйти в себя. Он «не находит» меня, мучается. После обеда меня пригласили на партию преферанса. Я отказываюсь: «Видите же, у меня гость...» А Юра обрадовался. «Идите... Идите, — говорит, — я пристроюсь в сторонке и буду работать». Так и сделали. Через несколько часов вижу, лицо моего гостя просветлело. Значит, доволен, «нашел».

Я провожал его в сумерках до шоссе. И он ушел в метель. Постепенчески стройный. Голова укутана малахаем. За плечом легкая сумка с рисунками. До остановки автобуса, что на большаке, он пошел один. Вскоре между нами упал непроницаемый занавес из кружащегося снега. Оказалось, что это навсегда...

Мы все еще сидим на белых березовых бревнах под окном родного дома Юрия Ракши. Я думаю о том чистом, страстном, совестливом таланте — о таланте высочайшей пробы. От этих дум мне легче и надежнее дышится под высоким ясным осенним небом. Валентина Михайловна плачет. Плачет тихо...

Ю. РАКША. «Настроение».
«Башкирские холмы».